Если выйти на мол, встретишь, несмотря на яркое солнце, резкий ветер и увидишь далекие зимние вершины Альп, серебряные, страшные. Но в затишье, в этом белом городке, на набережной, - тепло, блеск, по-весеннему одетые люди, которые гуляют или сидят на скамьях под пальмами, щурясь из-под соломенных шляп на густую синеву моря и белую статую английского короля, в морской форме стоящего в пустоте светлого неба.

Он же сидит одиноко, спиной к заливу, и не видит, а только чувствует солнце, греющее его спину. Он с раскрытой головой, сед, старчески благообразен. Поза его напряженно неподвижная и, как у всех слепых, египетская: держится прямо, сдвинув колени, положив на них перевернутый картуз и большие загорелые руки, приподняв свое как бы изваянное лицо и слегка обратив его в сторону, - все время сторожа чутким слухом голоса и шуршащие шаги гуляющих. Все время он негромко, однообразно и слегка певуче говорит, горестно и смиренно напоминает нам о нашем долге быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавливаюсь наконец и кладу в его картуз, перед его незрячим лицом, несколько сантимов, он, все так же незряче глядя в пространство, не меняя ни позы, ни выражения лица, на миг прерывает свою певучую и складную, заученную речь и говорит уже просто и сердечно:

- Merci, merci, mon bon frиre![1]

«Mon bon frиre...» Да, да, все мы братья. Но только смерть или великие скорби, великие несчастья напоминают нам об этом с подлинной и неотразимой убедительностью, лишая нас наших земных чинов, выводя нас из круга обыденной жизни. Как уверенно произносит он это: mon bon frиre! У него нет и не может быть страха, что он сказал невпопад, назвавши братом не обычного прохожего, а короля или президента республики, знаменитого человека или миллиардера. И совсем, совсем не потому у него нет этого страха, что ему все простят по его слепоте, по его неведению. Нет, совсем не потому. Просто он теперь больше всех. Десница божия, коснувшаяся его, как бы лишила его имени, времени, пространства. Он теперь просто человек, которому все братья...

И прав он и в другом: все мы в сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую, - я несу в себе жизнь, ее полноту и радость. Что это значит? Это значит, что я воспринимаю, приемлю все, что окружает меня, что оно мило, приятно, родственно мне, вызывает во мне любовь. Так что жизнь есть, несомненно, любовь, доброта, и уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть. И вот он, этот слепой, зовет меня, когда я прохожу: «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и ко мне; тебе все родственно в этом мире в это прекрасное утро - значит, родствен и я; а раз родствен, ты не можешь быть бесчувствен к моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, как и плоть всего мира, едина с твоей, ибо твое ощущение жизни есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущение друг друга и всего сущего!»

Не пекитесь о равенстве в обыденности, в ее зависти, ненависти, злом состязании.

Там равенства не может быть, никогда не было и не будет.